

1990, 26 марта - 1 апр
(N13), - с. 20

Он обрел широкую известность в мае 1937 года, после того, как в «Новом мире» появилась его повесть «Смирненное кладбище». В прошлом году тот же журнал после полугодовой борьбы с военной цензурой опубликовал еще одну калединскую повесть — «Стройбат», ныне не менее популярную. «У меня повесть Каледина, — говорит о ней Анатолий Стреляный, лауреат Государственной премии СССР 1939 года, — вызвала чувство радости, такое, какое вызывает всякое произведение искусства».

Сергей КАЛЕДИН:

«ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ»

Прежде всего не спрашивайте меня о том, что я хотел выразить тем или иным произведением. Я не хочу вставать в назидательную позу, учить, что такое «дело художника». У меня не было цели спасти страждущее человечество. Задача писателя — показать то, что он знает и умеет, чему он свидетель, что занимает его, чем хочет поделиться в первую очередь. Потом, если вещь удалась, включается аудитория. Она не только читает с интересом, развлекается, но и высказывает для себя педагогические, философские резоны. Но все это потом, это — не моя задача. Когда Пушкина спросили где-то на середине создания романа: «А что будет с Татьяной дальше?», он ответил: «Спросите у Татьяны». Так и нужно писать. Иначе будет мораль.

— Следовательно, вы пишете, не следуя принципам, традиционным в России: писатель в долгу у читателя, «поэт в России больше, чем поэт»?

— Пишу только для себя, испытывая графоманский зуд, своеобразный комплекс неполноценности. «Поэт в России больше, чем поэт» или «я хочу, чтоб к штыку прирастали перья» — принципы, которые кончаются большей частью плохо, как это кончилось (дыркой в сердце) у автора последней цитаты (Маяковского). Не нужно брать на себя непосильную ношу мыслителя, философа. Мы, писатели, — совершенно другая «конструкция», мы должны показать, отобразить, повторить, то, что люди не видели, или видели да не увидели, или лучше изобразить что-то привычное. Но это, опять-таки, выясняется в конце, когда вещь уже написана. Когда же литератор ощущает себя Мессией, ретранслятором Божьего гласа, то это часто завершается печально, как произошло, к примеру, с Н. В. Гоголем, другими писателями, в том числе и ныне живущими.

— Вы считаете, что сегодня литература может наконец-то сложить с себя обязанности публицистики, и интерес к прозе и поэзии станет более естественным?

— Конечно. Она перебродит и займется своим делом. Однако сейчас, что ни говоришь, революция, а когда гремят пушки, музы молчат. Кончится эта кашка, волнение, и все вернется на круги своя. Будет спрос на лирику, повысится престиж прозы, все образует.

— А сами вы уверены, что ваши «новомировские» повести переживут период этой революции?

— Что касается «Кладбища» — уверен. Ибо я — лучший писатель среди могильщиков и лучший могильщик среди писателей. Никто не писал о кладбище, никто там не работал, а я «тормознулся» там на полтора года. К тому же эта тема, тема смерти, занимает и русских, и евреев, и негров преклонных годов. И потому эта повесть, так или иначе, обречена на успех. Не случается и высокий интерес к «Кладбищу» за границей, его переводят на множество языков.

Насчет «Стройбата» — не уверен. Здесь я — не единственный, об армии пишут лучше и у нас, и за рубежом. Но вещь неплохая, мне нравится. Я не рассматриваю ее как «нетленку», нет. Но она существует, у нее есть свой читатель. А, кстати, затевается и русско-польско-французский фильм «Стройбат».

В перестройке, надо заметить, много удивительного и даже комичного. Напри-

мер, не так давно министр обороны товарищ Язов, выступая со сцены Театра Советской Армии во время I Всесоюзного совещания офицеров Советской Армии, заявил, что «Стройбат» — не только малохудожественная, но и клеветническая книга, в общем, ужасная. А на следующий день на той же сцене шла репетиция пьесы «Стройбат», премьера которой, бог даст, не за горами. Такой парадокс перестройки.

— Вы согласны с мнением, гласящим, что в пору демократизации, гласности появление талантливых произведений маловероятно?

— Согласен, что тенденция к появлению их ослабевает. Когда земля горит под ногами, когда неизвестно, что принесет грядущий день, то есть, когда мозги отвлечены на другие тяжелые проблемы, из них вылетают все творческие заготовки. Надо подождать, пока перестройка перестанет быть перестройкой и превратится в нормальную, обыденную и свободную жизнь, в привычку; тогда все появится. А пока страну бьет лихоманка — не до изящной словесности.

— Это — основная причина?

— Думаю, да. И потому, мы не приучены к гласности, к свободе. Мы хорошо разработали систему эзопова языка, то есть говорить не совсем то, что хочется, но чтоб подразумевалось между строк; играть в загадки: А и Б не говорите, черно-го-белого не берите, а, тем не менее, все понимали, о чем идет разговор. И теперь, когда можно, ткнув пальцем, назвать белое белым, а черное — черным, выяснилось, что умения жить и писать в демократической атмосфере у нас нет. Наберут народовластие и гласность ход — появится и умение говорить просто о простом, само заведется, словно червячки в закрытой муке заводятся из «ниоткуда».

— А ваши коллеги по перу согласны с этим?

— Нет, не все. Особенно те коллеги, которые были крепко биты застой, замалчивались, изгонялись, страдали. Такие считают, что в моих словах звучит непозволительная русскому литератору тоска по цензуре, по огр-р-раничениям свободы. Но сейчас, наверно, будет больше писателей, согласных со мной, потому что время идет, день за днем, год за годом, а заметных произведений мало.

— Вам можно возразить тем, что роман Достоевского «Бесы» появился как раз в разгар политических волнений, в 1872 году, по-газетному злободневный и, тем не менее, гениальный, с громадным философским, провидческим смыслом.

— Я, грешным делом, не считаю роман «Бесы» собственно художественным произведением. Это — прекрасное философско-исследовательское, провидческое произведение, но слова «художественное» я бы избегал.

— Вы пишете свои повести на основе собственного жизненного опыта. А можно ли писать, не обладая богатым жизненным багажом?

— Есть другие писатели, что далеко ходить, фантасты или какой-нибудь великий выдумщик Гарсиа Маркес. Я им по-хорошему завидую, а сам в каждую свою коротенькую «повестушку» кладу несколько лет своего жизненного опыта. А поскольку жизненный опыт конечен, когда-нибудь и писать перестану: не о чем рассказывать будет. А, возможно, наоборот, буду писать про то, что мне нечего рассказать. Это тоже грустная, но тема.

— Все ваши герои имеют действительных прототипов. На вашем столе лежит записка, написанная крупными буквами: «Найти! Костю Макарычева, Фшеля Ицковича, Нуно». Они не отделились ли от «Стройбата»?

— Нет. Более того, недавно в Ленинграде я позвонил парню, который явился прямым прототипом Женюки Богданова, и спросил: читал ли он «Стройбат»? Он ответил: нет, и вообще слушал меня как-то

ошалело, не понимая, о чем идет речь. А мне любопытно, как живет Костя или Фшеша двадцать лет спустя; захотелось поглядеться, спросить их мнение о прочитанном, пообщаться.

— А с бывшими сослуживцами по кладбищу вы общались? Кажется, они хотели вам отомстить.

— До меня доносились слухи, что они желают свести со мной счеты, считая «Кладбище» художественно-документированным доносом. Но потом, сменив гнев на милость, прототипы попросили меня достать билеты им и их женам в «Современник», на спектакль «Смирненное кладби-

ще». Я достал, и вроде бы они остались довольны.

— Федор Михайлович Достоевский, когда одно из вводимых им новых слов («стусеваться») внедрилось, осело в языке, посвятил такому факту отдельную заметку. Что вы почувствуете, если одно из ваших словечек, языковых нововведений закрепится в речи и в словарях?

— Счастлив буду, счастлив. Это настоящее признание, это то, о чем мечтает писатель. Высшей похвалы быть не может.

— А как вы относитесь к современным процессам в языке, скажем, к широкому заимствованию, к англиканизмам? На ваш взгляд, это не засоряет язык?

— Нашу речь засоряет только литературный выморочный, вычурный язык; засоряют штампы, газетные клише, телевизор. А любое английское ли, вологодское ли слово, если оно прижилось, звучит бо- лее точно, нежели русское, — значит, честь ему и хвала. Взвешивать слова по географическому признаку нецелесообразно.

— Традиционный вопрос к писателю: о чем вы сейчас пишете?

— Повесть о деревенской церкви, где я полгода работал истопником несколько лет тому назад.

— Так вы — человек, можно сказать, близкий к религии. Отчего же не спешите креститься?

— По тем же причинам, по которым не спешил вступать в комсомол и в партию. Не хочу терять самостоятельность. В частности наша православная ортодоксия требует очень серьезного подчинения своим уставам и догматам. Если бы я был постоянным прихожанином, имел бы своего духовника, то был бы лишен непредвзятого взгляда на религию, на веру. Уж лучше я буду подчиняться самому себе; тем более что нахожу в нашей церкви очень много минусов. А когда мне будет нравиться религия, то буду обращаться к ней за помощью, тянуть к ней ручки, а не будет нравиться — ручонки тянуть не буду.

— Писателю же, тем паче, не следует быть приписанным ни к какой организации, ни к какому ведомству. Иначе он будет уже не писатель, но рупор, в основном со знаком «плюс», усилитель идей своего сообщества.

— Вы — член Союза писателей?

— Член Союза писателей, но из чисто меркантильных соображений.

— Литфонд?

— Именно. Член Литфонда, профсоюза. Он дает мне путевку в Дом творчества почти за бесценок, паек с колбасой, очередь на машину, в конце концов, оплаченные похороны, что немаловажно. Надо быть приписанным не к СП, что не соответствует задаче литератора, а к Литфонду, профсоюзу. Ведь у всех есть свой профсоюз.

— И тем не менее, вы — член того самого СП, который был основан Сталиным, который громил Пастернака, Солженицына, «Метрополь» и так далее...

— ... и который я сейчас хочу развалить. Этот большой писательский «колхоз» распадется на глазах. Безусловно, он развалится, если не завтра, так через год. Это мертворожденное создание просуществовало полвека — пора уходить. А что придет на смену — пока неизвестно. Я-то хотел бы, чтобы на его месте остались одни руины. Каждый должен жить сам по себе, одиноко писать свои



строчки, и чем неудобнее ему будет в этом мире, чем индивидуальнее, тем большая вероятность, что из-под его пера выйдет нечто стоящее. При наличии, разумеется, писательского профсоюза, заботящегося о материальной стороне нашей жизни.

— И ваш идеал, как человека и как писателя — любовь к таким неудобно живущим, маленьким людям или презрение к ним? Не считаете ли вы своих героев либо их прототипов, вроде Губаря, мразью, отбросами общества?

— Ни в коем случае! Вообще на свете нет мрази, отбросов общества. А для пи-

сателя есть удавшийся либо неудавшийся персонаж. Я думаю, что Гоголь обожал и городничего, и Плюшкина, и Хлестакова. Обожал и умилялся: до чего здорово выходит! Иначе не получилось бы так гениально.

А идеал? К сожалению, наиболее известные мои повести, построенные на «экзотическом» материале. Сам-то я считаю лучшей своей вещью «Коридор», автобиографический роман, посвященный как раз Акимам Акимовичам, где фигурируют герои из посадо-слободского люда, мешающие средней руки, неэкзотические, внешне неброские. Для меня писать о них — самое любимое и дорогое. Кстати, готовится семисерийный телефильм по «Коридору», и я рад, что и эта вещь станет известной.

— Один уважаемый редактор толстого либерального журнала в одном из интервью заметил: «...скромней, достойней всего ведут себя одаренные люди. Но каждый день я принимаю авторов, которые сами идут впереди своей рукописи, грудью стараются проложить ей дорогу. Надо ли так делать? Этически ли? Рукописи не дитя, талантливейшие книги сегодня все рады». Как бы вы ответили на это замечание, вам же приходилось «пробивать» в печать свои рукописи...

— Есть прекрасная поговорка «под лежачий камень вода не течет». И режим прежде был настроен на то, что не хватит у писателей, особенно молодых, напора и силы для борьбы с такой химерой, чудилищем. А требовались большие усилия, от них зависела судьба писателя. Рукописи прекрасно горят, тонут, их авторам отбивают руки, ломают жизнь, они вешаются, спиваются, уезжают...

А эта благостная надежда на то, что талант сам собой выплывет, — неверна. Вспомним притчу о двух лягушках, которые попали в банку сметаны. Одна решила, что в самом деле обречена, не стоит бороться, все ясно. А другая колотила лапками, как дура, будучи уверена, что подожмет, но все же колотила — и вылезла жива-здоровая. Я, как идиот, десять лет ходил по всем редакциям. Меня все уже принимали за городского сумасшедшего, смеялись, едва показывалась моя борода-тая рожа. Надо было бросить дело на полдороге? Ан нет. Ходил, шастал, надоедал, всем плешь проел. Правда, если бы не моя мама, которая меня поддерживала материально и морально все эти десять лет, то, бесспорно, я бы отказался от всяких литературных амбиций.

Возможно, третья причина нынешнего спада в литературе в том, что у многих писателей руки отбиты. Отбиты руки, нет больше сил, веры в себя.

Так что надо, надо бить лапками в этой сметане и не слушать высокомерные заявления седовласых мэтров, которые призывают быть скромнее, так как талантливые рукописи сами найдут дорогу и будут опубликованы. Будут... после смерти.

— Как вы относитесь к нынешнему делению писателей на «правых», «левых», «западников», «почвенников» и, как к следствию, групповщине в толстых журналах?

— Думаю, что такое деление неверно, ибо нет никаких «почвенников», «кнепочвенников», а есть хорошие писатели и плохие. Вот и все.

Беседу вел
Юрий ЗАЙНАШЕВ.

26/11/90
Каледин С.